

М. О. ГЕРШЕНЗОН

СТАТЬИ О ПУШКИНЕ

Со вступительной статьей
Леонида Гроссмана
ГЕРШЕНЗОН — ПИСАТЕЛЬ

Чаадаев и Пушкин

Когда они впервые встретились у Карамзина в Царском Селе, Чаадаеву было года 22, Пушкину — 17: он еще учился в Лицее. Дружба их началась несколько позже, по окончании Пушкиным Лицея, и оборвалась с его высылкой из Петербурга в 1820 г. Оба были, значит, еще очень молоды; но в то время в образованном дворянском кругу юноши созревали рано.

Легко представить себе, как с шумом и хохотом, сверкая белыми зубами, врывается в кабинет Чаадаева смуглый, курчавый, невысокий, быстрый в движениях юноша — Пушкин. Он, может быть, кутил до утра, но у него крепкие нервы, и очень вероятно, что, проснувшись поздно, он еще час — другой, полулежа в постели, писал свою поэму о Руслане, потом оделся небрежно-щегольски, вышел на Невский, прошелся и решил зайти к Чаадаеву. Он всегда ходит к Чаадаеву, тот у него не бывает. Они — закадычные друзья. И как странно! Между ними, казалось бы, не должно быть ничего общего. Чаадаев — аристократ, блестящий гвардейский офицер, и вместе с тем, ученый и мыслитель. Ему всего 24 года, но он уже занимает прекрасное положение в свете: он с успехом проделал французскую кампанию и теперь состоит адъютантом при командире гвардейского корпуса, князе Васильчикове; он хорош собой, его знает двор, он свой человек в аристократических гостиных Петербурга. Он богат и независим; его спокойная уверенность в обращении с людьми — вероятно, предмет страстной зависти для Пушкина; он импонирует сдержанной любезностью — вот в чем его сила. Его кабинет — сочетание элегантности и учености. Чаадаев — домосед и аккуратен до щепетильности; если хорошенько присмотреться, на обстановке, как и на самом хозяине, лежит отпечаток педантизма, и Пушкин здесь — точно олицетворение буйной

шалости и беспорядка. Что свело этих двух несходных молодых людей? — Но это будущий величайший поэт России и ее сильнейший философский ум. У обоих — острая потребность интеллектуального, и так как каждый из них по своему неистово своеобразен, то во взаимном общении оба находят наслаждение; вот почему и память об этой дружбе осталась столь яркой для обоих. Один широко образован и умом свободно господствует над своими знаниями, другой чуток, быстр в понимании и гениально-прозорлив: это ли не чудесная пара для дружбы и особенно для бесед!

Мы можем до некоторой степени восстановить содержание этих бесед. В одной позднейшей неоконченной повести Пушкина, где действие происходит в 1825 году, гвардейский офицер пишет своему другу в ответ на его назидательные советы: „Твои умозрительные и важные рассуждения принадлежат к 1818 году. В то время строгость правил и политическая экономия были в моде. Мы являлись на балы, не снимая шпаг: нам неприлично было танцевать и некогда заниматься дамами“. По образованности и широте взгляда Чаадаев, конечно, превосходил большинство своих сверстников; но в общем он делил их интересы; и для него на первом плане стояли тогда строгое отношение к себе и желание свободы для России. То и другое соединялось в сознании своего общественного долга. Когда Пушкин в самом разгаре этой дружбы захотел одной чертой определить Чаадаева, ему пришлось сказать: „Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес“; значит, в его глазах Чаадаева всего больше отличали свободолюбие и широкий государственный взгляд. Это указывает также на преобладающий предмет их разговоров. Чаадаев, без сомнения, „развивал“ своего молодого друга; так, мы узнаем об их совместных чтениях; позднее Пушкин вспоминал: „Как я с Кавериним гулял... с моим Чаадаевым читал“, и в послании к Чаадаеву: „Посмотрим, перечтем...“ и „Знакомых мертвецов живые разговоры“. Главными темами этих бесед и чтений были политическая жизнь народов в прошлом и будущем, уроки исторического опыта и грядущие судьбы человечества вообще и России в частности; характеризуя эти беседы, Пушкин употребляет слова: „пророческие споры“ и „вольнолюбивые надежды“. Самым жгучим интересом являлось, конечно, порабощение России; только об этом и говорит единственное обращение к Чаадаеву, написанное Пушкиным за два года дружбы; очевидно, он сознавал, что в этом чувстве они сливаются всего полнее. Я не буду приводить этих известных стихов: укажу только, на какую почву здесь поставлено стремление к свободе:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы.

Это — идея нравственного долга перед самим собой и перед родиной: таков был характер этих бесед.

Как это всегда бывает, непосредственно Пушкин сознавал только их конкретное содержание; но в другом свете представились они ему два года спустя, в Кишиневе, когда, вместе с угаром петербургской жизни, рассеялось и навеянное на него средою острое политическое настроение. Здесь, в уединении, „для сердца новую вкушая тишину“, он углубился в себя и дал себе отчет в своем прошлом. И тут то он сумел по настоящему оценить и свою дружбу с Чаадаевым. Что ему кажется теперь в ней наиболее ценным, это уже не те уроки политической мудрости и вольнодумства, которыми он тогда упивался, а нечто другое, чего он тогда не умел ценить и почти не замечал: та нравственная атмосфера, которою он дышал, входя к Чаадаеву. Он говорит Чаадаеву:

Ты был целителем моих душевных сил;
О, неизменный друг, тебе я посвятил
И краткий век, уже испытанный судьбою,
И чувства, может быть, спасенные тобою!
Ты сердце знал мое во цвете юных дней;
Ты видел, как потом в волнении страстей
Я тайно изнывал, страдалец утомленный;
В минуту гибели над бездною потаенной
Ты поддержал меня недремлющей рукой;
Ты другу заменил надежду и покой;
Во глубину души вникая строгим взором,
Ты оживлял ее советом иль укором;
Твой жар воспламенял к высокому любовь;
Терпенье смелое во мне рождалось вновь;
Уж голос клеветы не мог меня обидеть:
Умел я презирать, умея ненавидеть.

Здесь не нужно искать намеков на дружеские услуги со стороны Чаадаева, и „потаенная бездна“, конечно, меньше всего означает, как это часто утверждали, грозившую Пушкину ссылку в Соловецкий монастырь: здесь речь идет исключительно о внутренних падениях Пушкина и о высокой настроенности духа, о нравственной свободе, которым он учился у Чаадаева. Напротив, эта „потаенная бездна“ как раз свидетельствует о каком то тяжелом нравственном кризисе, пережитом Пушкиным между 1818 и 1820 г.г.

И, наконец, напомним строки, так хорошо дорисовывающие и портрет Чаадаева, и картину этой дружбы:

Когда соединим слова любви и руки.
Когда услышу я сердечный твой привет.
Как обниму тебя. Увижу кабинет,
Где ты всегда мудрец, а иногда мечтатель
И ветрянной толпы бесстрастный наблюдатель;
Приду, приду я вновь, мой милый домосед

и т. д.

В любой биографии Пушкина можно найти рассказ о том, как Чаадаев в 1818 г. чрез Васильчикова представил Александру I «Деревню» Пушкина, и другой рассказ — о ссылке Пушкина на юг, когда Чаадаев через Карамзина добился смягчения кары, ожидавшей молодого поэта: две элементарные услуги, какие мог оказать Пушкину каждый из его знакомых.

С этой ссылкой пути обоих друзей далеко расходятся, и не только потому, что Пушкин оказался вдруг выбитым из прежней колеи: жизнь Чаадаева вскоре изменилась не менее круто. В конце 1820 г. он подал в отставку и бросил Петербург; в 1823 г. он уехал за границу и, прожив там три года, вернулся в Москву чуть ли не в один день с Пушкиным — в начале сентября 1826 г., но вернулся совершенно другим человеком, и в ближайшее время, до 1829 г., едва ли даже поддерживал сношения с Пушкиным.

Он пережил за эти годы тяжелый душевный перелом. Подобно Заратустре, и он надолго ушел в пустыню, и жил там один лицом к лицу со своим грозным богом, пока не познал его и не покорился ему; когда он снова вышел к людям, он нес им скрижаль завета.

В 1829 году внутренняя борьба была кончена, и Чаадаева снова потянуло к людям из мрачного одиночества, в котором он прожил почти четыре года; в то же самое время он начал излагать свое учение в форме философских писем. Пушкин, живший тогда в Москве, был одним из первых, кому он дал для прочтения свое первое, знаменитое впоследствии, письмо.

За десять лет, что они прожили врозь, Пушкин много выстрадал как человек и пышно расцвел как поэтический гений, но он остался в той же плоскости: ничто не нарушило удивительную природную цельность его духа; напротив — она только полнее раскрылась. Чаадаев в то время вовсе не жил; когда, в конце 20-х годов, он проходил по улицам Москвы, мрачный, изможденный, низко надвинув шляпу, чтобы не быть узнанным, — о нем можно было сказать, что говорили о Данте равенские мальчики: „Вот человек, побывавший в преисподней“. Глубокой душевный раскол кинул его в одну из тех бездонных, неисследимых крайностей, в какие впадают только люди великого духа и откуда они выносят наверх новые

аспекты вечной истины. Это было, как известно, мистическое истолкование мира. Для Чаадаева теперь больше не существовало ни случайности, ни противоречий, ни непонятого разнообразия явлений, — и в то время, как наивно-верующий ощущает стройность и осмысленность бытия только в идее Верховного Разума, Чаадаев сознавал ее в самом процессе, видел воочию последовательное строение царствия божьего на земле. В его глазах вся мировая жизнь — один цельный механизм претворения плотского в духовное и личного в безличное имманентной миру божественной силой, и вся история человечества — не что иное, как последовательный ход этого процесса, конечной целью которого является слияние мира с богом. И так всецело была воспринята его духом эта система, так глубоко им продумана, что ему было естественно приурочивать к общему мировому делу частное историческое явление нынешнего дня, например, революцию 1830 года или поэзию Гейне.

Как отнесся Пушкин на первых порах к учению Чаадаева, мы не знаем. До нас дошло его письмо к Чаадаеву от 1831 г. о третьем «Философическом письме»: он был изумлен силою и красотой слога, широтою и грандиозностью картин, но он ничего не говорит о существе дела, называя взгляд Чаадаева на историю совершенно новым для себя и ограничиваясь частными возражениями. Напротив, само собою понятно, как должен был теперь Чаадаев смотреть на поэтическую деятельность Пушкина. Если он не находил достаточно сильных слов, чтобы заклеить поэмы Гомера, как соблазнительный апофеоз плоти, то тем более должна была ужасать и печалить его чувственная поэзия его друга. Он умел в полной мере ценить и силу чувства, и художественное дарование Пушкина. Повидимому, его временами занимала мысль — как хорошо было бы ему, владеющему идеей истины, соединиться с Пушкиным, великим русским поэтом, чтобы общими силами двинуть Россию вперед. До нас дошла одна его записка к Пушкину, писанная, вероятно, в 1829 году. Это призыв и укор, где истина пытается увлечь на свой путь красоту, не догадываясь, что красота — и сама истина, но укор, полный любви, и призыв, трогательный как молитва.

„Самое пламенное мое желание, мой друг, — пишет Чаадаев, — видеть вас посвященным в тайну времен. Нет более прискорбного зрелища в нравственном мире, как гениальный человек, не постигший своего века и своего призвания. Когда видишь, что тот, кто должен был бы властвовать над умами, сам подчиняется власти привычек и рутине толпы, тогда чувствуешь себя сам задержанным в своем движении; тогда гово-

ришь себе: зачем этот человек, который должен бы вести меня, мешает мне итти вперед? Именно это я испытываю каждый раз, когда думаю о вас, и я думаю об этом так часто, что это меня совершенно удручает. Не мешайте же мне итти, прошу вас. Если у вас не хватает терпения ознакомиться с тем, что совершается в мире, уйдите в себя и из собственных недр вынесите тот свет, который неизбежно есть во всякой душе, подобной вашей. Я убежден, что вы могли бы сделать безмерное благо этой бедной России, заблудившейся на земле. Не обманывайте своей судьбы, мой друг. Последнее время по-русски читают всюду; вы знаете, что Булгарина перевели и поставили рядом с Жуи; что же касается вас, то нет номера журнала, где бы о вас не было речи. Я нашел имя моего друга Гульянова упомянутым с почтением в толстой книге, а знаменитый Клапрот в знак признания подарил ему египетскую корону; можно сказать, он потряс пирамиды на их основах. Видите, как много славы вы можете себе добыть. Киньте крик к небу — оно вам ответит“.

„Я говорю вам все это, как видите, по поводу книги, которую посылаю вам. Так как в ней говорится понемногу обо всем, то она, может быть, пробудит в вас несколько добрых мыслей. Простите, мой друг. Я говорю вам, как Магомет арабам, — о, если бы вы знали!“

Чаадаев возвращался к этому потом еще не раз. В 1831 году он писал Пушкину: „Несчастье, друг мой, что не пришлось нам с вами теснее сойтись в жизни. Я попрежнему стою на том, что мы с вами должны были итти вместе и что из этого вышло бы чтонибудь полезное и для самих нас, и для ближнего“. Я приведу здесь одно из немногих уцелевших писем Чаадаева к Пушкину, писанное в сентябре 1831 г., т. е. когда Чаадаев уже вернулся в московское общество, стал бывать в английском клубе и принимать у себя друзей; оно лучше познакомит читателя с Чаадаевым второго периода и с его отношением к Пушкину, чем мы могли бы это сделать на многих страницах. Для ясности надо сказать, что „переворот“, о котором идет речь в письме, — июльская революция и последовавший за нею, как раз летом этого 1831 года, бурный антиклерикальный взрыв во Франции, когда народ жег церкви, рубил кресты и пр. Эта революция ужаснула Чаадаева. Он видел в ней буйный разгул материальных сил, катастрофу, способную надолго задержать ход всемирного религиозного процесса.

„Ну, мой друг ¹⁾, что же вы сделали с моей рукописью, уж не пристала ли к ней холера? Говорят, впрочем, у вас

¹⁾ «Русский Архив» 1831 г., т. 1, стр. 431—438. Подлинник по-французски.

холера не показывалась. Разве не сбежала ли рукопись как-нибудь? В таком случае, пожалуйста, дайте знать. У меня было большое удовольствие увидеть опять ваш почерк. Он мне напомнил то прежнее время, в котором, сказать правду, было немного хорошего, но когда еще жива была надежда, когда еще не наступала пора великих разочарований. Понимаете, я говорю о себе; но и вам, думается, было лучше, когда еще не до дна исчерпалась действительность. Друг мой, ваша действительность была светла и блестяща; но существует ли такая действительность, которая могла бы сравняться с обманчивыми ожиданиями и предчувствиями, лживыми призраками блаженного возраста неведения?

„Вам, говорили вы, хотелось бы побеседовать; давайте беседовать. Но берегитесь: я, вы знаете, не из веселых, а вы — человек нервный. Ну те, о чем мы станем беседовать? У меня одна идея, вы это знаете. Если бы, по какой-нибудь случайности, и оказались в моем мозгу еще какие-нибудь другие мысли, то они не замедлили бы приклеиться все к той же одной идее; глядите, будет ли это вам удобно? Если бы вы еще возбудили во мне какие-нибудь мысли от вашего мира, если бы вы вызвали меня! Но вам угодно, чтобы я заговорил первый, быть так; но еще раз, право, берегите нервы!

„Вот что я вам собираюсь сказать. Приметили ли вы, что в недрах нравственного мира совершается нечто чрезвычайное, подобное тому, что, говорят, происходит в недрах физического мира? Скажите же, как это на вас действует? По моему, в этом великом перевороте — поэзия природы; а вы не можете оставаться к нему равнодушным, уже потому, мне кажется, что в этом представляется обильная пища для эгоизма поэта. Есть ли возможность не чувствовать себя задетым в своих самых сокровенных чувствах, когда задеваются все основы человеческой природы! На днях мне случилось видеть письмо вашего приятеля, великого поэта ¹⁾: это беззаботная веселость, наводящая ужас. Скажите на милость, каким это образом человек, который в былое время печалился по всякому поводу, не находит в себе ни малейшей скорби теперь, когда валится целый мир?! Ибо, поглядите, друг мой, разве же это не погибель мира? Разве тот, кто неспособен предчувствовать иной, новый мир, имеющий возникнуть на месте прежнего, может видеть во всем этом что-нибудь, как не одно ужасное разрушение?! Неужели и у вас тоже не найдется по этому поводу ни одной мысли, ни одного чувства? Я уверен, что

¹⁾ Жуковского.

мысль эта, это чувство, они есть у вас, только запрятанные глубоко, неведомо для самих вас, в какомнибудь затаенном уголке вашей души; пробиться на свет божий им нельзя — они затеряны под грудой старых понятий, привычек и условностей, из каких, что ни говорите, неизбежно слит всякий поэт, что он ни делай; ибо, друг мой, со дней индуса Вальмики, певца Рамаяны, и греческого Орфея, до шотландца Байрона, все до одного поэты обречены до сего дня пересказывать вечно одно и то же, в каком бы уголке вселенной ни раздавалась их песнь.

„О, как бы хотелось мне разом вызвать наружу всю мощь вашего поэтического дарования! Как бы хотелось мне теперь же добыть из ее глубины все, что, я знаю, таится в ней, дабы и вы дали нам услышать один из тех гимнов, которых жаждет век наш! О, тогда как поразились бы вы мгновенно всем, что теперь проходит перед вами, не оставляя ни малейшего следа в вашем духе! Как преобразилось бы тогда все пред вашим взором!

„А покамест давайте все таки побеседуем. Недавно, всего какойнибудь год тому назад, мир жил себе с чувством спокойной уверенности в своем настоящем и будущем, мирно припоминая свое прошедшее и поучаясь им. Дух возрождался в спокойствии, память человеческая обновлялась, мнения примирялись, стихала страсть, раздражения не находили себе пищи, честолюбие получало удовлетворение в прекрасных трудах, все потребности человека мало по малу сводились в пределы умственной сферы, все интересы были готовы сойтись на едином интересе всеобщего прогресса разума. Для меня это было — вера, доверчивость бесконечная! В этом счастливом мире мира, в этом будущем я обретал и мой собственный мир, видел мое собственное будущее. И случилась вдруг глупость одного человека, одного из тех людей, которые, неведомо для них самих, бывают призваны управлять человеческими делами, — и вот: спокойствие, мир, будущее, все вдруг разлетелось прахом. Подумайте хорошенько: все это произведено не одним из великих событий, сокрушающих царства и народы; нет, дурость одного человека! Вам в том вихре, в котором вы вращаетесь, нельзя было почувствовать этого так, как почувствовал я: это понятно. Но может ли быть, чтобы это изумительное приключение, которому еще не бывало подобных, всецело отмеченное перстом промысла, представлялось вам лишь обыденной прозой, или много много дидактической поэмой, в роде какогонибудь Лиссабонского землетрясения, для вас ни к чему непригодной.

„Быть этого не может! Нет, у меня, я чувствую, слезы навертываются, когда погляжу на это великое бедствие старого,

моего старого общества. Это всеобщее горе, обрушившееся столь внезапно на мою Европу, усугубило мое личное горе. А, между тем, да, так! Из всего этого имеет выйти одно только благо; я глубоко убежден в этом и имею утешение видеть, что не один я не теряю надежды на образование разума. Но как и когда это совершится. Одним ли сильным умом, нарочно посланным на сие провидением, или рядом событий, которые оно вызовет для просвещения человечества? Не ведаю. Но какое то смутное чутье говорит мне, что скоро имеет явиться человек поведать нам истину, потребную времени. Кто знает, быть может это будет, во-первых, нечто в роде той политической религии, что Сен-Симон теперь проповедует в Париже; либо католицизм нового рода, каким некоторые дерзновенные священники хотят заменять католицизм, созданный и освященный веками. Отчего и не так? Какое дело, тем ли, иным ли способом будет дан первый толчок тому движению, которое долженствует завершить судьбы человечества! Многие предшествовавшие тому великому моменту, в который божественный посланник некогда возвестил миру благовую весть, было предназначено приготовить мир; многому подобному суждено, без сомнения, совершиться и в наши дни, прежде чем и нам будет принесено новое благовестие с небес. Будем ждать“.

В последних строках письма Чаадаев выражает надежду найти отклик в душе поэта. „От вас будет зависеть заставить меня взяться за перо опять; немножко сочувствия в вашем будущем письме! Г. Нащокин сказывает, что вы страшно ленивы; поройтесь ка немножко у себя в голове, и особенно в сердце, которое умеет биться так горячо, когда захочет: вы отыщете в нем больше материалов, чем нужно нам на все остальные годы наши. Прощайте, старый и добрый друг. А рукопись то моя? Чуть было и не позабыл. Пожалуйста, вы то не позабудьте“.

В 1836 г., когда в «Телескопе» было напечатано знаменитое «Философическое письмо», Чаадаев послал один оттиск Пушкину, и Пушкин отозвался обширным, внимательно обдуманым письмом, которое дошло до нас в двух черновиках; оно осталось непосланным, как думают, потому, что Пушкин до отсылки его узнал о буре, вызванной чаадаевским письмом в официальных сферах. Письмо Пушкина носит явные следы осторожности и умолчаний на тот конец, если бы оно попало в ненадлежащие руки. Во всяком случае, оно чрезвычайно замечательно. Основную идею Чаадаева, его философию истории, Пушкин опять обходит молчанием.

Скорее можно думать, что он принимает ее, — по крайней мере, в своих возражениях он от нее исходит. Его замечания касаются исключительно прикладной стороны чаадаевской теории — его взгляда на Россию; они настолько последовательны, что в главном Чаадаев и сам уже несколько раньше додумался до них, и так полны ума и чувства, как мог писать тогда о России, кроме Чаадаева, один Пушкин.

В самый год смерти Пушкина Чаадаев, высочайше объявленный за свое «Философическое письмо» сумасшедшим, начал писать «Апологию сумасшедшего», и здесь, смягчая свой прежний безнадежный отзыв о России, он сказал: „Наконец, может быть преувеличением было опечалиться на минуту о судьбе народа, из недр которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина“. В 1837 году так оценить национальное значение Пушкина умели, конечно, немногие.

Чаадаев пережил Пушкина почти на двадцать лет. Он гордился дружбою поэта и старался, чтобы и другие не забывали о ней. Уж он не преминет, поглаживая свой голый череп, обстоятельно рассказать новому знакомому историю этой дружбы и услуги, оказанной им Пушкину, когда он „спас“ его от Соловков; еще незадолго до смерти, когда П. И. Бартенев начал печатать в «Московских Ведомостях» материалы для биографии Пушкина, он был крайне уязвлен умолчанием в них о себе и нажаловался на молодого автора Шевыреву до нельзя обиженным письмом. Но правда требует сказать, что Пушкин действительно любил его, как немногих. Узнав об отъезде Чаадаева за границу, он порадовался за него, но эгоистически огорчился: „Любимая моя надежда была с ним путешествовать. Теперь бог знает, когда свидимся“. Вскоре по приезде в Михайловское, в 1824 г., он вместе с перстнем, без которого ему „грустно“, велит брату прислать себе и портрет Чаадаева. Друзья знают его слабость к Чаадаеву: когда Нащокин, недолголюбивший Чаадаева, хочет в письме к Пушкину (уже в 30-х годах) сделать о нем критическое замечание, он оговаривает: „Еще с позволения вашего скажу (ибо ты не любишь, чтобы я об нем говорил), рука на сердце, говорю правду, что он еще блуждает“, и проч.

Проходя мимо церкви Вознесения у Никитских ворот в Москве, вы непременно каждый раз вспомните, что здесь

венчался Пушкин, — и что то милое, уютное, родное глянет на вас и с этого ветхого домика насупротив, и из крутого переулочка, откуда входят в церковь. Особенное очарование лежит для нас на всем, до чего в своей жизни дотронулся Пушкин. И потому, как ни значителен для нас Чаадаев сам по себе, как ни дорого нам его собственное наследие, дружба с Пушкиным что то еще прибавляет ему: одна из самых теплых черт его облика, несомненно, заключается в том, что его любил Пушкин.